Тапёр

Двенадцатилетняя Тиночка Руднева влетела, как разрывная бомба, в комнату, где ее старшие сестры одевались с помощью двух горничных к сегодняшнему вечеру. Взволнованная, запыхавшаяся, с разлетевшимися кудряшками на лбу, вся розовая от быстрого бега, она была в эту минуту похожа на хорошенького мальчишку.

– Mesdames, а где же тапер? Я спрашивала у всех в доме, и никто ничего не знает. Тот говорит — мне не приказывали, тот говорит — это не мое дело… У нас постоянно, постоянно так, — горячилась Тиночка, топая каблуком о пол. — Всегда что-нибудь перепутают, забудут и потом начинают сваливать друг на друга…

Самая старшая из сестер, Лидия Аркадьевна, стояла перед трюмо. Повернувшись боком к зеркалу и изогнув назад свою прекрасную обнаженную шею, она, слегка прищуривая близорукие глаза, закалывала в волосы чайную розу. Она не выносила никакого шума и относилась к “мелюзге” с холодным и вежливым презрением. Взглянув на отражение Тины в зеркале, она заметила с неудовольствием:

– Больше всего в доме беспорядка делаешь, конечно, ты, — сколько раз я тебя просила, чтобы ты не вбегала, как сумасшедшая, в комнаты.

Тина насмешливо присела и показала зеркалу язык. Потом она обернулась к другой сестре, Татьяне Аркадьевне, около которой возилась на полу модистка, подметывая на живую нитку низ голубой юбки, и затараторила:

– Ну, понятно, что от нашей Несмеяны-царевны ничего, кроме наставлений, не услышишь. Танечка, голубушка, как бы ты там все это устроила. Меня никто не слушается, только смеются, когда я говорю… Танечка, пойдем, пожалуйста, а то ведь скоро шесть часов, через час и елку будем зажигать…

Тина только в этом году была допущена к устройству елки. Не далее как на прошлое Рождество ее в это время запирали с младшей сестрой Катей и с ее сверстницами в детскую, уверяя, что в зале нет никакой елки, а что “просто только пришли полотеры”. Поэтому понятно, что теперь, когда Тина получила особые привилегии, равнявшие ее некоторым образом со старшими сестрами, она волновалась больше всех, хлопотала и бегала за десятерых, попадаясь ежеминутно кому-нибудь под ноги, и только усиливала общую суету, царившую обыкновенно на праздниках в рудневском доме.

Семья Рудневых принадлежала к одной из самых безалаберных, гостеприимных и шумных московских семей, обитающих испокон века в окрестностях Пресни, Новинского и Конюшков и создавших когда-то Москве ее репутацию хлебосольного города. Дом Рудневых — большой ветхий дом доекатерининской постройки, со львами на воротах, с широким подъездным двором и с массивными белыми колоннами у парадного, — круглый год с утра до поздней ночи кишел народом. Приезжали без всякого предупреждения, “сюрпризом”, какие-то соседи по наровчатскому или инсарскому имению, какие-то дальние родственники, которых до сих пор никто в глаза не видал и не слыхал об их существовании, — и гостили по месяцам. К Аркаше и Мите десятками ходили товарищи, менявшие с годами свою оболочку, сначала гимназистами и кадетами, потом юнкерами и студентами и, наконец, безусыми офицерами или щеголеватыми, преувеличенно серьезными помощниками присяжных поверенных. Девочек постоянно навещали подруги всевозможных возрастов, начиная от Катиных сверстниц, приводивших с собою в гости своих кукол, и кончая приятельницами Лидии, которые говорили о Марксе и об аграрной системе и вместе с Лидией стремились на Высшие женские курсы. На праздниках, когда вся эта веселая, задорная молодежь собиралась в громадном рудневском доме, вместе с нею надолго водворялась атмосфера какой-то общей наивной, поэтической и шаловливой влюбленности.

Эти дни бывали днями полной анархии, приводившей в отчаяние прислугу. Все условные понятия о времени, разграниченном, “как у людей”, чаем, завтраком, обедом и ужином, смешивались в шумной и беспорядочной суете. В то время когда одни кончали обедать, другие только что начинали пить утренний чай, а третьи целый день пропадали на катке в Зоологическом саду, куда забирали с собой гору бутербродов. Со стола никогда не убирали, и буфет стоял открытым с утра до вечера. Несмотря на это, случалось, что молодежь, проголодавшись совсем в неуказанное время, после коньков или поездки на балаганы, отправляла на кухню депутацию к Акинфычу с просьбой приготовить “что-нибудь вкусненькое”. Старый пьяница, но глубокий знаток своего дела, Акинфыч сначала обыкновенно долго не соглашался и ворчал на депутацию.

Тогда в ход пускалась тонкая лесть: говорили, что теперь уже перевелись в Москве хорошие повара, что только у стариков и сохранилось еще неприкосновенным уважение к святости кулинарного искусства и так далее. Кончалось тем, что задетый за живое Акинфыч сдавался и, пробуя на большом пальце острие ножа, говорил с напускной суровостью:

– Ладно уж, ладно… будет петь-то… Сколько вас там, галчата?

Ирина Алексеевна Руднева — хозяйка дома — почти никогда не выходила из своих комнат, кроме особенно торжественных, официальных случаев. Урожденная княжна Ознобишина, последний отпрыск знатного и богатого рода, она раз навсегда решила, что общество ее мужа и детей слишком “мескинно”[1] и “брютально”[2], и потому равнодушно “игнорировала”[3] его, развлекаясь визитами к архиереям и поддержанием знакомства с такими же, как она сама, окаменелыми потомками родов, уходящих в седую древность. Впрочем, мужа своего Ирина Алексеевна не уставала даже и теперь тайно, но мучительно ревновать. И она, вероятно, имела для этого основания, так как Аркадий Николаевич, известный всей Москве гурман, игрок и щедрый покровитель балетного искусства, до сих пор еще, несмотря на свои пятьдесят с лишком лет, не утратил заслуженной репутации дамского угодника, поклонника и покорителя. Даже и теперь его можно было назвать красавцем, когда он, опоздав на десять минут к началу действия и обращая на себя общее внимание, входил в зрительную залу Большого театра — элегантный и самоуверенный, с гордо поставленной на осанистом туловище, породистой, слегка седеющей головой.

Аркадий Николаевич редко показывался домой, потому что обедал он постоянно в Английском клубе, а по вечерам ездил туда же играть в карты, если в театре не шел интересный балет. В качестве главы дома он занимался исключительно тем, что закладывал и перезакладывал то одно, то другое недвижимое имущество, не заглядывая в будущее с беспечностью избалованного судьбой гран-сеньора. Привыкнув с утра до вечера вращаться в большом обществе, он любил, чтобы и в доме у него было шумно и оживленно. Изредка ему нравилось сюрпризом устроить для своей молодежи неожиданное развлечение и самому принять в нем участие. Это случалось большею частью на другой день после крупного выигрыша в клубе.

– Молодые республиканцы! — говорил он, входя в гостиную и сияя своим свежим видом и очаровательной улыбкой. — Вы, кажется, скоро все заснете от ваших серьезных разговоров. Кто хочет ехать со мной за город? Дорога прекрасная: солнце, снег и морозец. Страдающих зубной болью и мировой скорбью прошу оставаться дома под надзором нашей почтеннейшей Олимпиады

Савичны…

Посылали за тройками к Ечкину, скакали сломя голову за Тверскую заставу, обедали в “Мавритании” или в “Стрельне” и возвращались домой поздно вечером, к большому неудовольствию Ирины Алексеевны, смотревшей брезгливо на эти “эскапады[4] дурного тона”. Но молодежь нигде так безумно не веселилась, как именно в этих эскападах, под предводительством Аркадия Николаевича.

Неизменное участие принимал ежегодно Аркадий Николаевич и в елке. Этот детский праздник почему-то доставлял ему своеобразное, наивное удовольствие. Никто из домашних не умел лучше его придумать каждому подарок по вкусу, и потому в затруднительных случаях старшие дети прибегали к его изобретательности.

– Папа, ну что мы подарим Коле Радомскому? — спрашивали Аркадия Николаевича дочери. — Он большой такой, гимназист последнего класса… нельзя же ему игрушку…

– Зачем же игрушку? — возражал Аркадий Николаевич. — Самое лучшее купите для него хорошенький портсигар. Юноша будет польщен таким солидным подарком. Теперь очень хорошенькие портсигары продаются у Лукутина. Да, кстати, намекните этому Коле, чтобы он не стеснялся при мне курить. А то давеча, когда я вошел в гостиную, так он папироску в рукав спрятал…

Аркадий Николаевич любил, чтобы у него елка выходила на славу, и всегда приглашал к ней оркестр Рябова. Но в этом году[5] с музыкой произошел целый ряд роковых недоразумений. К Рябову почему-то послали очень поздно; оркестр его, разделяемый на праздниках на три части, оказался уже разобранным. Маэстро в силу давнего знакомства с домом Рудневых обещал, однако, как-нибудь устроить это дело, надеясь, что в другом доме переменят день елки, но по неизвестной причине замедлил ответом, и когда бросились искать в другие места, то во всей Москве не оказалось ни одного оркестра. Аркадий Николаевич рассердился и велел отыскать хорошего тапера, но кому отдал это приказание, он и сам теперь не помнил. Этот “кто-то”, наверно, свалил данное ему поручение на другого, другой — на третьего, переврав, по обыкновению, его смысл, а третий в общей сумятице и совсем забыл о нем…

Между тем пылкая Тина успела уже взбудоражить весь дом. Почтенная экономка, толстая, добродушная Олимпиада Савична, говорила, что и взаправду барин ей наказывал распорядиться о тапере, если не приедет музыка, и что она об этом тогда же сказала камердинеру Луке. Лука, в свою очередь, оправдывался тем, что его дело ходить около Аркадия Николаевича, а не бегать

по городу за фортепьянщиками. На шум прибежала из барышниных комнат горничная Дуняша, подвижная и ловкая, как обезьяна, кокетка и болтунья, считавшая долгом ввязываться непременно в каждое неприятное происшествие. Хотя ее и никто не спрашивал, но она совалась к каждому с жаркими уверениями, что пускай ее бог разразит на этом месте, если она хоть краешком уха что-нибудь слышала о тапере. Неизвестно, чем окончилась бы эта путаница, если бы на помощь не пришла Татьяна Аркадьевна, полная, веселая блондинка, которую вся прислуга обожала за ее ровный характер и удивительное умение улаживать внутренние междоусобицы.

– Одним словом, мы так не кончим до завтрашнего дня, — сказала она своим спокойным, слегка насмешливым, как у Аркадия Николаевича, голосом. — Как бы то ни было, Дуняша сейчас же отправится разыскивать тапера.

Покамест ты будешь одеваться, Дуняша, я тебе выпишу из газеты адреса. Постарайся найти поближе, чтобы не задерживать елки, потому что сию минуту начнут съезжаться. Деньги на извозчика возьми у Олимпиады Савичны…

Едва она успела это произнести, как у дверей передней громко затрещал звонок. Тина уже бежала туда стремглав, навстречу целой толпе детишек, улыбающихся, румяных с мороза, запушенных снегом и внесших за собою запах зимнего воздуха, крепкий и здоровый, как запах свежих яблоков. Оказалось, что две большие семьи — Лыковых и Масловских — столкнулись случайно, одновременно подъехав к воротам. Передняя сразу наполнилась говором, смехом, топотом ног и звонкими поцелуями.

Звонки раздавались один за другим почти непрерывно. Приезжали все новые и новые гости. Барышни Рудневы едва успевали справляться с ними. Взрослых приглашали в гостиную, а маленьких завлекали в детскую и в столовую, чтобы запереть их там предательским образом. В зале еще не зажигали огня.

Огромная елка стояла посредине, слабо рисуясь в полутьме своими фантастическими очертаниями и наполняя комнату смолистым ароматом. Там и здесь на ней тускло поблескивала, отражая свет уличного фонаря, позолота цепей, орехов и картонажей.

Дуняша все еще не возвращалась, и подвижная, как ртуть, Тина сгорала от нетерпеливого беспокойства. Десять раз подбегала она к Тане, отводила ее в сторону и шептала взволнованно:

– Танечка, голубушка, как же теперь нам быть?.. Ведь это же ни на что не похоже.

Таня сама начинала тревожиться. Она подошла к старшей сестре и сказала

вполголоса:

– Я уж не придумаю, что делать. Придется попросить тетю Соню поиграть немного… А потом я ее сама как-нибудь заменю.

– Благодарю покорно, — насмешливо возразила Лидия. — Тетя Соня будет потом нас целый год своим одолжением донимать. А ты так хорошо играешь, что уж лучше совсем без музыки танцевать.

В эту минуту к Татьяне Аркадьевне подошел, неслышно ступая своими замшевыми подошвами, Лука.

– Барышня, Дуняша просит вас на секунду выйти к ним.

– Ну что, привезла? — спросили в один голос все три сестры.

– Пожалуйте-с. Извольте-с посмотреть сами, — уклончиво ответил Лука. — Они в передней… Только что-то сомнительно-с… Пожалуйте.

В передней стояла Дуняша, еще не снявшая шубки, закиданной комьями грязного снега. Сзади ее копошилась в темном углу какая-то маленькая фигурка, разматывавшая желтый башлык, окутывавший ее голову.

– Только, барышня, не браните меня, — зашептала Дуняша, наклоняясь к самому уху Татьяны Аркадьевны. — Разрази меня бог — в пяти местах была и ни одного тапера не застала. Вот нашла этого мальца, да уж и сама не знаю, годится ли. Убей меня бог, только один и остался. Божится, что играл на вечерах и на свадьбах, а я почему могу знать…

Между тем маленькая фигурка, освободившись от своего башлыка и пальто, оказалась бледным, очень худощавым мальчиком в подержанном мундирчике реального училища. Понимая, что речь идет о нем, он в неловкой выжидательной позе держался в своем углу, не решаясь подойти ближе.

Наблюдательная Таня, бросив на него украдкой несколько взглядов, сразу определила про себя, что этот мальчик застенчив, беден и самолюбив. Лицо у него было некрасивое, но выразительное и с очень тонкими чертами; несколько наивный вид ему придавали вихры темных волос, завивающихся “гнездышками” по обеим сторонам высокого лба, но большие серые глаза — слишком большие для такого худенького детского лица — смотрели умно, твердо и не по-детски серьезно. По первому впечатлению мальчику можно было дать лет одиннадцать — двенадцать.

Татьяна сделала к нему несколько шагов и, сама стесняясь не меньше его, спросила нерешительно:

– Вы говорите, что вам уже приходилось… играть на вечерах?

– Да… я играл, — ответил он голосом, несколько сиплым от мороза и от робости. — Вам, может быть, оттого кажется, что я такой маленький…

– Ах, нет, вовсе не это… Вам ведь лет тринадцать, должно быть?

– Четырнадцать-с.

– Это, конечно, все равно. Но я боюсь, что без привычки вам будет тяжело.

Мальчик откашлялся.

– О нет, не беспокойтесь… Я уже привык к этому. Мне случалось играть по целым вечерам, почти не переставая…

Таня вопросительно посмотрела на старшую сестру, Лидия Аркадьевна, отличавшаяся странным бессердечием по отношению ко всему загнанному, подвластному и приниженному, спросила со своей обычной презрительной миной:

– Вы умеете, молодой человек, играть кадриль?

Мальчик качнулся туловищем вперед, что должно было означать поклон.

– Умею-с.

– И вальс умеете?

– Да-с.

– Может быть, и польку тоже?

Мальчик вдруг густо покраснел, но ответил сдержанным тоном:

– Да, и польку тоже.

– А лансье? — продолжала дразнить его Лидия.

– Laissez done, Lidie, vous etes impossible[6], — строго заметила Татьяна Аркадьевна.

Большие глаза мальчика вдруг блеснули гневом и насмешкой. Даже

напряженная неловкость его позы внезапно исчезла.

– Если вам угодно, mademoiselle, — резко повернулся он к Лидии, — то, кроме полек и кадрилей, я играю еще все сонаты Бетховена, вальсы Шопена и рапсодии Листа.

– Воображаю! — деланно, точно актриса на сцене, уронила Лидия, задетая этим самоуверенным ответом.

Мальчик перевел глаза на Таню, в которой он инстинктивно угадал заступницу, и теперь эти огромные глаза приняли умоляющее выражение.

– Пожалуйста, прошу вас… позвольте мне что-нибудь сыграть…

Чуткая Таня поняла, как больно затронула Лидия самолюбие мальчика, и ей стало жалко его. А Тина даже запрыгала на месте и захлопала в ладоши от радости, что эта противная гордячка Лидия сейчас получит щелчок.

– Конечно, Танечка, конечно, пускай сыграет, — упрашивала она сестру, и вдруг со своей обычной стремительностью, схватив за руку маленького пианиста, она потащила его в залу, повторяя: — Ничего, ничего… Вы сыграете, и она останется с носом… Ничего, ничего.

Неожиданное появление Тины, влекшей на буксире застенчиво улыбавшегося реалистика, произвело общее недоумение. Взрослые один за другим переходили в залу, где Тина, усадив мальчика на выдвижной табурет, уже успела зажечь свечи на великолепном шредеровском фортепиано.

Реалист взял наугад одну из толстых, переплетенных в шагрень нотных тетрадей и раскрыл ее. Затем, обернувшись к дверям, в которых стояла Лидия, резко выделяясь своим белым атласным платьем на черном фоне неосвещенной гостиной, он спросил:

– Угодно вам “Rapsodie Hongroise”[7] № 2 Листа?

Лидия пренебрежительно выдвинула вперед нижнюю губу и ничего неответила. Мальчик бережно положил руки на клавиши, закрыл на мгновениеглаза, и из-под его пальцев полились торжественные, величавые аккордыначала рапсодии. Странно было видеть и слышать, как этот маленькийчеловечек, голова которого едва виднелась из-за пюпитра, извлекал изинструмента такие мощные, смелые, полные звуки. И лицо его как будто бысразу преобразилось, просветлело и стало почти прекрасным; бледные губыслегка полуоткрылись, а глаза еще больше увеличились и сделались глубокими,влажными и сияющими.

Зала понемногу наполнялась слушателями. Даже Аркадий Николаевич, любивший музыку и знавший в ней толк, вышел из своего кабинета. Подойдя к Тане, он спросил ее на ухо:

– Где вы достали этого карапуза?

– Это тапер, папа, — ответила тихо Татьяна Аркадьевна. — Правда, отлично играет?

– Тапер? Такой маленький? Неужели? — удивлялся Руднев. — Скажите пожалуйста, какой мастер! Но ведь это безбожно заставлять его играть танцы.

Когда Таня рассказала отцу о сцене, происшедшей в передней, Аркадий Николаевич покачал головой.

– Да, вот оно что… Ну, что ж делать, нельзя обижать мальчугана. Пускай играет, а потом мы что-нибудь придумаем.

Когда реалист окончил рапсодию, Аркадий Николаевич первый захлопал в ладоши. Другие также принялись аплодировать. Мальчик встал с высокого табурета, раскрасневшийся и взволнованный; он искал глазами Лидию, но ее уже не было в зале.

– Прекрасно играете, голубчик. Большое удовольствие нам доставили, — ласково улыбался Аркадий Николаевич, подходя к музыканту и протягивая ему руку. — Только я боюсь, что вы… как вас величать-то, я не знаю.

– Азагаров, Юрий Азагаров.

– Боюсь я, милый Юрочка, не повредит ли вам играть целый вечер? Так вы, знаете ли, без всякого стеснения скажите, если устанете. У нас найдется здесь кому побренчать. Ну, а теперь сыграйте-ка нам какой-нибудь марш побравурнее.

Под громкие звуки марша из “Фауста” были поспешно зажжены свечи на елке. Затем Аркадий Николаевич собственноручно распахнул настежь двери

столовой, где толпа детишек, ошеломленная внезапным ярким светом и ворвавшейся к ним музыкой, точно окаменела в наивно изумленных забавных позах. Сначала робко, один за другим, входили они в залу и с почтительным любопытством ходили кругом елки, задирая вверх свои милые мордочки. Но через несколько минут, когда подарки уже были розданы, зала наполнилась невообразимым гамом, писком и счастливым звонким детским хохотом. Дети точно опьянели от блеска елочных огней, от смолистого аромата, от громкой музыки и от великолепных подарков. Старшим никак не удавалось собрать их в хоровод вокруг елки, потому что то один, то другой вырывался из круга и бежал к своим игрушкам, оставленным кому-нибудь на временное хранение.

Тина, которая после внимания, оказанного ее отцом Азагарову, окончательно решила взять мальчика под свое покровительство, подбежала к нему с самой дружеской улыбкой.

– Пожалуйста, сыграйте нам польку.

Азагаров заиграл, и перед его глазами закружились белые, голубые и розовые платьица, короткие юбочки, из-под которых быстро мелькали белые кружевные панталончики, русые и черные головки в шапочках из папиросной бумаги. Играя, он машинально прислушивался к равномерному шарканью множества ног под такт его музыки, как вдруг необычайное волнение, пробежавшее по всей зале, заставило его повернуть голову ко входным дверям.

Не переставая играть, он увидел, как в залу вошел пожилой господин, к которому, точно по волшебству, приковались глаза всех присутствующих. Вошедший был немного выше среднего роста и довольно широк в кости, но не полн. Держался он с такой изящной, неуловимо небрежной и в то же время величавой простотой, которая свойственна только людям большого света.

Сразу было видно, что этот человек привык чувствовать себя одинаково свободно и в маленькой гостиной, и перед тысячной толпой, и в залах королевских дворцов. Всего замечательнее было его лицо — одно из тех лиц, которые запечатлеваются в памяти на всю жизнь с первого взгляда: большой четырехугольный лоб был изборожден суровыми, почти гневными морщинами; глаза, глубоко сидевшие в орбитах, с повисшими над ними складками верхних век, смотрели тяжело, утомленно и недовольно; узкие бритые губы были энергичны и крепко сжаты, указывая на железную волю в характере незнакомца, а нижняя челюсть, сильно выдвинувшаяся вперед и твердо обрисованная, придавала физиономии отпечаток властности и упорства. Общее впечатление довершала длинная грива густых, небрежно заброшенных назад волос, делавшая эту характерную, гордую голову похожей на львиную…

Юрий Азагаров решил в уме, что новоприбывший гость, должно быть, очень важный господин, потому что даже чопорные пожилые дамы встретили его почтительными улыбками, когда он вошел в залу, сопровождаемый сияющим Аркадием Николаевичем. Сделав несколько общих поклонов, незнакомец быстро прошел вместе с Рудневым в кабинет, но Юрий слышал, как он говорил на ходу о чем-то просившему его хозяину:

– Пожалуйста, добрейший мой Аркадий Николаевич, не просите. Вы знаете, как мне больно вас огорчать отказом…

– Ну хоть что-нибудь, Антон Григорьевич. И для меня и для детей это будет навсегда историческим событием, — продолжал просить хозяин.

В это время Юрия попросили играть вальс, и он не услышал, что ответил тот, кого называли Антоном Григорьевичем. Он играл поочередно вальсы, польки и кадрили, но из его головы не выходило царственное лицо необыкновенного гостя. И тем более он был изумлен, почти испуган, когда почувствовал на себе чей-то взгляд, и, обернувшись вправо, он увидел, что Антон Григорьевич смотрит на него со скучающим и нетерпеливым видом и слушает, что ему говорит на ухо Руднев.

Юрий понял, что разговор идет о нем, и отвернулся от них в смущении, близком к непонятному страху. Но тотчас же, в тот же самый момент, как ему казалось потом, когда он уже взрослым проверял свои тогдашние ощущения, над его ухом раздался равнодушно-повелительный голос Антона Григорьевича:

– Сыграйте, пожалуйста, еще раз рапсодию N 2.

Он заиграл, сначала робко, неуверенно, гораздо хуже, чем он играл в первый раз, но понемногу к нему вернулись смелость и вдохновение.

Присутствие того, властного и необыкновенного человека почему-то вдруг наполнило его душу артистическим волнением и придало его пальцам исключительную гибкость и послушность. Он сам чувствовал, что никогда еще не играл в своей жизни так хорошо, как в этот раз, и, должно быть, не скоро будет еще так хорошо играть.

Юрий не видел, как постепенно прояснялось хмурое чело Антона Григорьевичаи как смягчалось мало-помалу строгое выражение его губ, но когда он кончилпри общих аплодисментах и обернулся в ту сторону, то уже не увидел этого привлекательного и странного человека. Зато к нему подходил с многозначительной улыбкой, таинственно подымая вверх брови, Аркадий Николаевич Руднев.

– Вот что, голубчик Азагаров, — заговорил почти шепотом Аркадий Николаевич, — возьмите этот конвертик, спрячьте в карман и не потеряйте, — в нем деньги. А сами идите сейчас же в переднюю и одевайтесь. Вас довезет Антон Григорьевич.

– Но ведь я могу еще хоть целый вечер играть, — возразил было мальчик.

– Тсс!.. — закрыл глаза Руднев. — Да неужели вы не узнали его? Неужели вы не догадались, кто это?

Юрий недоумевал, раскрывая все больше и больше свои огромные глаза. Кто же это мог быть, этот удивительный человек?

– Голубчик, да ведь это Рубинштейн. Понимаете ли, Антон Григорьевич Рубинштейн! И я вас, дорогой мой, от души поздравляю и радуюсь, что у меня на елке вам совсем случайно выпал такой подарок. Он заинтересован вашей игрой…

Реалист в поношенном мундире давно уже известен теперь всей России как один из талантливейших композиторов, а необычайный гость с царственным лицом еще раньше успокоился навсегда, от своей бурной, мятежной жизни, жизни мученика и триумфатора. Но никогда и никому Азагаров не передавал тех священных слов, которые ему говорил, едучи с ним в санях, в эту морозную рождественскую ночь, его великий учитель.

1900 г.

Примечания

1 пошло, от mesquin (фр.)

2 грубо, от brutal (фр.)

3 игнорировала (от фр. ignorer)

4 проказы (от фр. escapade)

5 Рассказ относится к 1885 г.; кстати заметим, что основная фабула его покоится на действительном факте, сообщенном автору в Москве М.А.З-вой, близко знавшей семью, названную в рассказе вымышленной фамилией Рудневых (прим.авт.)

6 перестаньте же, Лидия, вы невозможны (фр.)

7 “Венгерская рапсодия” (фр.)